

Ларин А.

Недуги интеллигенции. К 25-летию со дня смерти А.П. Чехова

Источник: Заря (Харбин). 1929. 14 июля. №186. С. 3.

– Их штербе...

С такими, почему-то немецкими, словами двадцать пять лет тому назад, в ночь на второе июля по старому стилю умер Антон Павлович Чехов. Много сделал Чехов для русской литературы и русского театра, но судьба заплатила ему за это многими лишениями и страданиями.

Детство и гимназические годы – в захолустном Таганроге. Потом Москва, университет и – так как надо поддерживать многочисленную семью – спешная, торопливая работа в юмористических журнальчиках под псевдонимом Антоши Чехонте. «Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы» – будет признаваться он несколько позднее в письме к Григоровичу.

День за днем и месяц за месяцем проходят в напряженной работе, разделяемой между журналами и медицинским факультетом. Постепенно имя Чехова становится популярным среди читателей.

Что такое отсутствие теплого слова, дружеской поддержки, остро чувствовалось молодым писателем, – об этом свидетельствуют искренние, от избытка волнения написанные слова в письме Григоровичу, который первым заметил в Чехове крупную литературную величину: «Как вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит вашу старость, я же не найду слов, ни дел, чтобы благодарить вас».

Но и еще позднее, даже до конца своей жизни со стороны известной части передовой интеллигенции того времени, Чехов не получает признания. Не рискнут оспаривать его литературного таланта, но будут при этом говорить: «Я не знаю зрелища печальнее, чем этот даром пропадающий талант».

После поездки на Сахалин Чехова упрекнут в том, что он не дал «потрясающих, еле переносимых картин». «Ведь Сахалин – это фантастический Дантов ад в реальной обстановке русского быта и русского администрирования». Его упрекнут даже в том, что он «ни разу не описал студенческой сходки».

Причина такого неблагожелательного отношения к Чехову со стороны радикально настроенной части русской интеллигенции крылась в том, что Чехов смел «свое суждение иметь». Он осмелился решительно отмежеваться от всякой партийности. «Во всех наших журналах царит кружковая партийная скука. Душно. Не люблю я за это толстые журналы и не соблазняет меня работа в них. Партийность, особливо если она бездарна и суха, не любит свободы и широкого размаха». Так писал он Плещееву. «Я боюсь тех, кто ищет между строк тенденции, и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал,

не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником – и только...» – в письме к тому же Плещееву.

Однако желание быть свободным художником во все времена считалось предосудительным. Надо было обрушиться на «фантастический Дантов ад в реальной обстановке русского быта и русского администрирования». А Чехов не хотел подчинять своего творчества какой-либо тенденции. Вот отчего веселость Чехова была чужда и неприятна Г.И. Успенскому.

Вот почему и Михайловский бросал, правда не лично Чехову, но всему поколению «восьмидесятников», вдохновителем которого считался Чехов, иронические слова: «Пожалуйста, – дорога вам и в самом деле широка! Дайте посмотреть на вас, сосчитать вас, дайте оценить ваши таланты и силы, столь тщательно вами скрываемые, что можно подумать, что у вас их совсем нет».

Тем не менее, все это Чехова не смутило. Свободу творчества он не хотел подчинить партийным доктринам.

Существует мнение, что на медицинский факультет Чехов попал случайно, без твердо сложившегося намерения. И что литературными трудами он начал заниматься потому, что очень тяжелым было материальное положение его семьи, когда она перебралась из Таганрога в Москву.

Но вряд ли все это так.

Очевидно, по самому складу своей натуры Чехов должен был быть именно врачом, к которому обращаются, как только обнаруживаются недомогания и с которым прощаются с тайной надеждой подольше не встречаться, как только недуги устранены.

Но пронизательный дар доктора Чехова не ограничился физическими недугами человеческого организма. Он сосредоточился на недугах русского общества, русской интеллигенции.

И диагнозы свои ставил с правдивой беспощадностью.

Убийственные диагнозы, приговоры <1 сл. нрзб>: неповоротливость, скаредность, подхалимство, тупоумие и многое другое.

«Течения, веяния, но ведь все это мелко, мизерабельно, притянута к пышным грошовым интересикам – и неужели в них можно видеть что-нибудь серьезное?» – читаем в рассказе «Моя жизнь». «Жизнь скучна, глупа, грязна... Затягивает эта жизнь», – говорит доктор Астров. И его же слова:

«Мужики однообразны очень, не развиты, грязно живут, а с интеллигенцией трудно ладить. Она утомляет. Все они, наши добрые знакомые, мелко выходят, мелко чувствуют и не видят дальше своего носа – просто-напросто глупы. А те, которые поумнее и покрупнее, истеричны, заедены анализом, рефлексом».

И Лопахин свидетельствует: «Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей!» И акцизный Шаликов говорит: «Как ничтожна, плоска эта жизнь, когда, вот идешь в потемках по улице и слышишь, как всхлипывает под ногами грязь».

Часто фигурирует в рассказах Чехова эта «всхлипывающая под ногами грязь», которая позднее, через полтора десятка лет после смерти самого Антона

Павловича, густо растечется по всей земле русской и превратится в такую трясиину разврата и преступлений, из которой и выбраться уже невозможно.

Теперь, после всего того, что происходит в России, таким ли уж парадоксом звучат слова доктора Благово из рассказа «Моя жизнь»: «Начало Руси было в 862 году, а начало культурной Руси, я так понимаю, еще не было. Та же дикость, то же сплошное хамство, то же ничтожество, что и пятьсот лет назад».

По нынешним временам приходится даже исправить:

– Больше дикости, больше хамства и больше ничтожества, чем и пятьсот лет назад.

Может быть, коммунисты и на этот раз пожелают отметить годовщину смерти А.П. Чехова и объявить его своим «пролетарским» писателем, как это не постеснялись они сделать в отношении Толстого и Грибоедова. Но, увы, и это будет только очередной подтасовкой.

Коммунизм – это пышный расцвет всех тех пороков, которые не уставал осмеивать Чехов, это та страшная болезнь, первые симптомы которой усмотрел зоркий глаз доктора Чехова, это та «всхлипывающая под ногами грязь», которая расплзлась в грандиозное болото, засосавшее и поглотившее все, что было святого, чистого и светлого в русской жизни.

Коммунисты, устраивающие траурные торжества в честь Чехова, – это все равно, что вредные бактерии, славословящие боровшегося с ними врача. Потому что вся основа и все корни коммунизма – в тех недугах русского общества, которыми болело оно во времена Чехова.

Радикальная интеллигенция, считавшая Чехова «даром пропадавшим талантом», очень хотела бы, чтобы Чехов принес свой талант на жертвенник революции. Чехов не оправдал этих ожиданий.

И хорошо сделал. Потому что мы теперь хорошо знаем, что такое русская революция.

«О, как я обманут! Я обожал этого профессора, этого жалкого подагрика, я работал на него как вол! Я и Соня выжимали из этого имени последние соки. Мы, точно кулаки, торговали постным маслом, горохом, творогом, сами не доедали куска, чтобы из грошей и копеек собирать тысячи и посылать ему. Я гордился им и его наукой, я жил, я дышал им! Все, что он писал и изрекал, казалось мне гениальным... Боже, а теперь? Теперь виден весь итог его жизни».

Так говорит дядя Ваня о профессоре Серебрякове.

Эти слова смело могли бы повторить в отношении революции все те, кто отдавал ей свои силы и свои жизни, потому что теперь виден «весь итог» революции.

И Соня, заливаясь слезами, говорит профессору Серебрякову: «Надо быть милосердным, папа! Я и дядя Ваня работали без отдыха, боялись потратить на себя копейку, и все посылали тебе... Надо быть милосердным!»

Разве о таком же милосердии не взывали к русской революции те, кто все отдавал ей и на кого потом обрушилась ее беспощадная жестокость?

Как у профессора Серебрякова не было в душе ни единой капли милосердия, так не оказалось милосердия и у русской революции. Она жаждала и до сих пор жаждет горячей человеческой крови.

Так удивительно ли, что многие из старых революционеров подняли вооруженную руку и стреляли в своего бывшего идола, как дядя Ваня стрелял в профессора Серебрякова.

Что касается прогнозов Чехова, то они для нас малоутешительны. Как только речь заходит о светлой жизни, о счастье, Чехов начинает говорить о сотнях лет. И доктор Астров повторяет за Чеховым: «Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас, те, быть может, найдут средство, как быть счастливыми». И полковник Вершинин: «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной». И при другом случае: «Через двести, триста, наконец, тысячу лет – дело не в сроке, – настанет новая, счастливая жизнь».

Сто, двести, триста, а может быть, тысяча лет...

Чехов – доктор.

И, может быть, действительно хорошо знал он, что для излечения тех недугов, которым подвержен был организм русского общества, понадобятся сотни лет. Пока мы видим только усиление этих недугов и благодатной для них обстановки коммунистических опытов.

Будем все же надеяться, что Чехов в этом отношении ошибся.

Ведь бывают же случаи, что и врачи ошибаются.

И чтобы поддержать в себе энергию, чтобы не падать духом, вспомним фразу, которую так любил повторять А. П. Чехов:

– Надо работать!

Сам Чехов, несмотря на тяжелый физический недуг, так рано сведший его в могилу, почти до последнего своего вздоха не оставлял работы. И признавался: «Это пугает меня только тогда, когда я вижу кровь. В крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве...»

Но снова превозмогал свою болезнь и продолжал работать.

Пусть счастье на земле наступит через двести, триста, через тысячу лет.

Пусть льются сейчас по России зловещие потоки крови...

– Надо работать.

Ведь и доктор Астров говорил:

«Если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я».